КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

★

ОТ ДИЛЕТАНТИЗМА К НАУКЕ

Заметки текстолога

1

Едва только Некрасов скончался, одна из одесских газет опубликовала в качестве его неизданного произведения большой стихотворный отрывок, который начинался такими словами:

Горы (?) да поляны — бедная природа.
Сторона — могила мёртвого народа.

Другие газеты перепечатали новонайденный текст, и через год он был без всяких оговорок введён в посмертное издание стихотворений Некрасова.

Между тем Некрасов никогда не писал этих клеветнических стихов о России. Их написал Михаил Розенгейм. бесталанный сочинитель убогих либеральных сатир, высмеянных в своё время Добролюбовым. В газетах появились разоблачения этой фальшивки.

Так неудачно начались разыскания в области неопубликованных некрасовских текстов.

Продолжались они столь же неудачно. В восьмидесятых годах на страницах такого, казалось бы, авторитетного органа, как «Русский архив», появилось другое новонайденное стихотворение Некрасова. Оно начиналось словами:

Заздравный кубок поднимая,—

и было безапелляционно объявлено тем застольным экспромтом, с которым Некрасов якобы обратился к М. Н. Муравьёву. Эта публикация долго пользовалась полным доверием исследователей. Лишь недавно удалось обнаружить, что автор этих стихов не Некрасов, а один из приближённых к Муравьёву чиновников.

Позже, в девяностых годах, тот же «Русский архив» опубликовал в качестве «неизвестного» текста такое стихотворение Некрасова, которое было известно в печати с 1854 года, причём публикатор скандальнейшим образом приписал это стихотворение... Тютчеву.

Словно не желая отстать от «Русского архива», другой исторический журнал того времени, «Русская старина», опубликовал самодельные вирши некоего генерала Вениамина Асташева и выдал их за неизданное стихотворение Некрасова.

Третий исторический журнал, «Голос минувшего», как будто соревнуясь со своими коллегами, напечатал стихотворение Добролюбова «Дума при гробе Оленина» и объявил, что его автор — Некрасов и что оно называется «На смерть Николая I».

Ошибки эти чрезвычайно характерны для исторических журналов той эпохи. Редакторы не несли ни малейшей ответственности за достоверность своих публикаций, и потому доверяться этим публикациям было опасно. Правда, иные тексты воспроизводились с безукоризненной точностью, но то была счастливая случайность, ибо ничто не мешало им оказаться фантастикой.

Вообще не было организовано никакого контроля над материалами, печатавшимися в этих изданиях. В разное время по разным поводам «Русская старина» сообщила семь разнородных фактов, относившихся к биографии Некрасова; из них два были подлинной правдой, пять оказались ложью. Редактору было бы очень легко эту ложь обнаружить, если бы он дал себе труд проверить свои публикации по материалам, опубликованным ранее. Но у него не было склонности к такому труду: он был публикатор — и только, собиратель всякой всячины, а какой — безразлично, хотя бы то была никчёмная рухлядь.

Поскольку дело идёт о литературных явлениях прошлого, названным дореволюционным изданиям нынче соответствует «Литературное наследство», издаваемое Академией наук СССР. Стоит развернуть любой из его томов (а их вышло уже больше шестидесяти) — о Гёте, о Пушкине, о Лермонтове, о Грибоедове, о Герцене и Огарёве или о том же Некрасове, чтобы убедиться нагляднейшим образом, что и в эту малозаметную область советская культура внесла свои великие принципы, в корне изменившие самое существо всего дела. То, что было дилетантщиной, стало наукой. Организаторам этих замечательных сборников (С. Макашин и И. Зильберштейн) нисколько не свойственна роль архивариусов, слепо, без всякой проверки регистрирующих всякий документ. Прежде чем предложить читателю какой-нибудь новонайденный текст, они при содействии крепко слаженного коллектива учёных подвергают этот текст самой скрупулёзной проверке по всем параллельным мемуарно-архивным источникам, и таким образом читателю обеспечена максимальная гарантия точности каждого из публикуемых текстов. Я не говорю, что эта точность всегда абсолютна. И здесь встречаются порою погрешности, но, во-первых, их в тысячу раз меньше, чем в тех изданиях, о которых я сейчас говорил, а во-вторых, среди них уже не встречаешь таких чудовищных ошибок и промахов, какие были заурядным явлением в литературной практике старого времени.

Умственная лень, полузнайство, кустарщина, безответственность, равнодушие, халатность, в той или иной степени присущие прежним изданиям подобного рода, сменились здесь научным анализом текста, пытливым стремлением вникнуть в его содержание, выяснить все обстоятельства, при которых этот текст создавался, дать воспроизведение его в том варианте, который наиболее соответствует авторской воле.

Научное мировоззрение, проникшее во все области нашей культуры, не могло не отразиться и на этом участке литературной работы. Напомню об издании классиков, осуществлённом и осуществляемом в послевоенные годы Гослитиздатом и Академией наук. Сомнительны, невнятны, недостоверны и сбивчивы были прежде изданные тексты Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Добролюбова, Слепцова, Успенского, не говоря уже о Пушкине, Грибоедове, Гоголе, Лермонтове. Немудрено, что советский читатель начисто отверг эти издания — все до единого, отказался изучать по ним своих любимых писателей и потребовал новых, научно установленных, научно проверенных текстов. Отсюда такие прекрасные памятники советской текстологии, как 90-томное «Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого», как 20-томное «Полное собрание сочинений и писем Чехова», как академическое издание Пушкина и т. д.

Достаточно прочитать любой том основанной Горьким «Библиотеки поэта», будут ли то стихи Кюхельбекера, Огарёва, Минаева, Курочкина или Тютчева, Фета, Полонского, Константина Случевского, чтобы понять, в чём состоит та система работы над литературным наследием, которая по праву может называться советской.

Редактор каждого из этих томов лишь в силу инерции именуется здесь его «составителем», «подготовителем текста» — термины глубоко неверные, предполагающие механичность, ремесленность работы, между тем как на самом-то деле редактор в нашем советском литературном быту есть творческий работник, изыскатель, исследователь, посвятивший себя многолетнему комплексному изучению писателя, которого он редактирует. Он досконально знает и социальную и личную биографию этого автора, ему всесторонне известна эпоха, когда тот жил и творил, он с самой щепетильной тщательностью воспроизводит, а иногда и воссоздаёт его канонический текст, для чего, как, например, в случае с Фетом и Тютчевым, потребовались изощрённые лабораторные методы, так как эти тексты дошли до нас в очень недостоверной редакции, искажённой посторонним вмешательством.

Наиболее показательна в этом смысле судьба стихотворений Некрасова. Истерзанные царской цензурой, они вскоре после смерти поэта попали в руки каких-то барышников, которые сорок лет, вплоть до советской эпохи, печатали их с отвратительной, я сказал бы, преступной неряшливостью. Такому посмертному поруганию не подвергался ещё ни один из наших великих писателей. Не было в России поэта — большого или малого,— книги которого в течение столь долгого времени печатались бы в таком исковерканном виде. Дело до-

шло до того, что, например, в одиннадцатом издании некрасовских книг стихотворение «Сеятелям» было озаглавлено «Деятелям», вместо «стон» напечатано «сон», вместо «грозы» — «грёзы», вместо «кусточек» — «кусочек», вместо «селение» — «соление», вместо «поженки» — «ноженки», вместо «обграют» — «обгреют» и т. д.

У Некрасова. например, было сказано о покончившем с собою извозчике:

Над санями под навесом
На возжах **висел.**

А в тринадцатом издании читаем:

Над санями под навесом
На возжах **сидел.**

Такова была «текстология» Некрасова в досоветский период литературной истории. К тому времени многие стихотворения уже стали цензурными, но издатели, ради угождения властям, свято сохраняли давно забытые запреты цензуры семидесятых годов и на основании этих старинных запретов не включали в его книги таких произведений, как, например, поэма «В. Г. Белинский», «Вчерашний день, часу в шестом», «На смерть Шевченко», «Смолкли честные, доблестно павшие», «Что нового?», «Путешественник» и многие другие.

Когда Октябрьская революция освободила Некрасова от произвола черносотенных издателей, в 1918 году Наркомпрос постановил издать новое, раскрепощённое издание стихотворений поэта, где были бы заполнены цензурные бреши и дан строго проверенный текст. Редактировать новое издание было поручено мне. Сил и умения было у меня тогда очень мало, ибо в ту пору я не успел ещё выработать те научные принципы, которые необходимы для подобных трудов. Приходилось итти ощупью, наугад, без сколько-нибудь точной системы. Правда, в проредактированный мною однотомник, вышедший в 1920 году, было внесено около трёх тысяч стихов, не входивших в прежние издания; равным образом здесь было заполнено изрядное количество цензурных пробелов. Но из-за отсутствия принципиальных установок издание изобиловало большими изъянами, многие текстологические проблемы были решены здесь неправильно, и мне потребовалось тридцать четыре года дальнейших трудов в той же области, чтобы полностью осознать те непреложные принципы, которыми надлежит руководствоваться при воссоздании подлинных текстов Некрасова. Эти-то принципы мне и хотелось бы сформулировать здесь, так как они кажутся мне обязательными для всех, кому придётся работать в дальнейшем над текстами великого поэта.

2

В первую очередь, нам, конечно, удобнее всего рассмотреть самые лёгкие, простые, элементарные случаи, не вызывающие ни сомнений, ни споров, чтобы потом постепенно, в порядке возрастающей трудности, перейти к более запутанным и сложным проблемам.

Таких элементарных случаев было немало. Очень часто задача сводилась к тому, чтобы, найдя в каком-нибудь частном архиве неизвестную некрасовскую рукопись, выделить в ней запрещённые цензором строки и заполнить этими строками пробелы, зияющие в текстах дореволюционной эпохи.

Закономерность подобных поправок была вполне очевидна и не подлежала сомнению. Всё здесь сводилось к самой незамысловатой и, я сказал бы, бесхитростной реставрации стихов, уничтоженных царской цензурой.

Если, например, во всех дореволюционных изданиях стихотворение «Молебен» печаталось в таком искалеченном виде:

Внемли моление наше сердечное
О послуживших ему...

после чего следовали цензурные точки, обозначавшие пропуск:

. . . . . .
. . . . . ;

было ясно, что на основе новонайденных некрасовских текстов эта строфа должна быть напечатана так:

Внемли моление наше сердечное
О послуживших ему,
Об осуждённых в изгнание вечное,
О заточённых в тюрьму.

Иначе эту строфу и невозможно печатать. Здесь единственно правильный её вариант.

Таковы же новые, долго остававшиеся в неизвестности строки, внесённые в сатиру Некрасова «Отрывки из путевых записок графа Гаранского». Больше полувека эти отрывки печатались так:

Вот памятное место.
Тут славно мужички расправились
с одним.
«А что?» . . . . . .

Ответ на этот вопрос не дошёл до читателей, ибо дальше опять-таки следовали цензурные точки.

Теперь мы получили возможность заменить эти точки стихами:

«А что?» — Да сделали из барина-то
тесто.—
«Как тесто?» — Да в куски живого
изрубил
Один мужик...
и т. д.

Восстановление этих запрещённых цензурой стихов тоже не встретило никаких возражений.

И ещё один пример из очень многих: такая же бесспорная поправка в стихотворении «Отъезжающему», где о попытке революционных борцов отдать свои силы народу во всех досоветских изданиях Некрасова было напечатано, так:

Суньсяко! сделаешь шаг,
А на втором . . . . . .

И снова точки, отмечающие цензурный пробел. После того как на основании надёжных источников этот пробел был заполнен, получилось такое двустишие:

Суньсяко! сделаешь шаг,
А на втором перервут тебе глотку!

Таких самоочевидных случаев — великое множество, и они не требуют никаких комментариев.

Когда-то при изучении некрасовской рукописи «Пьяная ночь» мне довелось обнаружить один неизвестный стих в монологе Якима Нагого. В этом монологе всем были памятны такие стихи:

Работаешь один,
А чуть работа кончена,
Гляди, стоят три дольщика...

Так печаталось лет пятьдесят. Что за дольщики — читатели не знали. Найденная строка отвечала на этот вопрос и таким образом раскрывала политический смысл всего предыдущего текста:

Гляди, стоят три дольщика:
Бог, царь и господин!

Новая строка была тотчас же введена в обиход, и теперь этот обновлённый вариант фигурирует даже в хрестоматиях и школьных учебниках. Его без всяких оговорок цитируют в брошюрах и книгах, посвящённых поэзии Некрасова. Стало быть, законность поправки была очевидна для всех. Иначе, в сущности, и быть не могло: в данном случае задача редактора только и сводилась к тому, чтобы, найдя подлинный некрасовский текст или воспользовавшись чужими находками, определить, какие в нём имеются строки, изъятые царской цензурой, и заполнить этими строками цензурный пробел. Если бы вся наша работа над наследием Некрасова заключалась в подобных поправках, текстология была бы очень нетрудным занятием.

3

Но дело шло не только о заполнении цензурных пробелов новонайденными стихами поэта. Столь же существенно важной при воссоздании подлинных некрасовских текстов представлялась нам и вторая задача: заменить одни варианты другими, более свободными от цензурного гнёта. Ведь цензура не ограничивалась выбрасыванием отдельных кусков того или иного стихотворения Некрасова; она требовала, чтобы автор смягчил, изменил, «обезвредил» какое-нибудь резкое слово или какую-нибудь резкую фразу. Цензор Бекетов так и писал Некрасову в 1855 году о его стихотворении «Маша»: «следует изменить слово казённый»... «заменить слово либерал другим». И поэт был вынужден своею же рукою делать эти требуемые цензурой замены, заведомо ухудшая тем самым свой стих.

Эта система «смягчений» язвительно осмеяна самим же Некрасовым в знаменитых автопризнаниях цензора (в сатире «Газетная»):

Если ты написал: «равнодушно
Губернатора встретил народ»,
Исключу я три буквы: «ра—душно»
Выйдет... что же? Три буквы не счёт!

Так что задача текстолога и в этом случае была очень ясна: делай, так сказать, обратную замену: зачёркивай цензурное «радушно» и восстанавливай некрасовское «равнодушно».

В стихотворении «Я за то глубоко презираю себя» девяносто три года во всех изданиях Некрасова печатался невразумительный стих:

А до дела дойдёт — замирает рука!

Но после того, как был найден такой вариант:

А хватаюсь за нож — замирает рука! —

кто же мог сомневаться, что именно этот вариант и было необходимо ввести в окончательный текст?

Замены эти в огромном большинстве так бесспорны, что и не требуют никаких пояснений. Достаточно продемонстрировать их, и их закономерность будет очевидна для каждого.

Например, в «Песне Ерёмушке» во всех досоветских изданиях было:

Братством, Истиной, Свободою

Теперь мы печатаем (на основании добролюбовской копии):

Братством, Равенством, Свободою.

Прежде печаталось (в «Знахарке»):

Много потерпишь, дойдёшь до запою

Теперь:

Высечен будешь, дойдёшь до запою

Прежде печаталось (в поэме «Несчастные»):

Аптека, два-три кабака

Теперь:

Собор, четыре кабака

Иногда эти замены очень мелки, ограничиваются одним-единственным словом (например, в «Притче о «Киселе» слова «хан» и «визирь» заменены словом «царь»), но как бы ни были они незначительны, они в своей совокупности чрезвычайно усилили политическое звучание поэзии Некрасова.

То же можно сказать и об отдельных стихотворениях Некрасова, находящихся в государственных и частных архивах Саратова, Петербурга, Петергофа, Москвы и других городов: о стихотворениях «Смолкли честные», «Есть и Руси чем гордиться», «Н. Ф. Крузе», «Мы вышли вместе» и о многих других, никогда не включавшихся в дореволюционные издания по тем же цензурным причинам.

Здесь будет уместно отметить, что инициатором «некрасовских раскопок» был Горький, который ещё в 1898 году напечатал в журнале «Жизнь» по новонайденной рукописи неизвестное стихотворение Некрасова «Как празднуют трусу» («Время-то есть, да писать нет возможности»), где поэт с горькой иронией указывал, что так называемое «освобождение» крестьян не принесло им желанной свободы.

Почин Горького был подхвачен другими, и теперь в «Полное собрание сочинений и писем Н. А. Некрасова» входят тысячи и тысячи стихов, которых не было в дореволюционных изданиях.

4

Но текстологические проблемы далеко не всегда допускают те элементарные, простые решения, примеры которых мы сейчас приводили.

Гораздо плодотворнее кажется мне изучение той обширной категории поправок, которая потребовала более трудных, более изощрённых приёмов исследования. Поправки эти нередко служили предметом ожесточённой полемики, так как они не раз вызывали сомнение, недоверие, а порою и резкий протест со стороны читателей, рецензентов и критиков. Было немало случаев, когда редактору приходилось упорно бороться за предложенный им вариант, с бою отстаивать ту или иную поправку, которую он считал наиболее верной. Здесь-то и пришлось применять те руководящие принципы, о которых было сказано выше. Принципов этих не много, но если б мы не следовали им, тексты наших великих писателей остались бы раз навсегда жертвой произвола редакторов.

Первый из этих принципов, фундаментальный, незыблемый, вполне совпадает с теми общими установками, которые приняты советской литературной наукой для всех без исключения классических текстов. Принцип этот заключается в том, что в основу редактируемых нами изданий должен быть непременно положен последний прижизненный текст, выражающий окончательную волю поэта. Некрасов, например, с 1846 года во всех сборниках своих стихотворений тридцать лет печатал такое двустишие:

Мне луч божественный участья
Весь тёмный путь твой осветил.

Но незадолго до смерти, готовя новое издание стихов, он зачеркнул эти строки и вместо них написал:

Верь: я внимал не без участья
Я жадно каждый звук ловил...

И, конечно, эта авторская поправка для нас обязательна. Сохранять предыдущий вариант мы не вправе. Даже если нам почему-нибудь кажется, что прежний текст был более удачен, даже если мы жалеем о том, что автор заменил его новым, наше субъективное суждение должно оставаться при нас, а воля автора должна быть беспрекословно исполнена.

Мне, как читателю, кажется, например, что стихотворение «Затворница», написанное Некрасовым на смертном одре, превосходно. Но Некрасова оно не удовлетворило, и он через несколько дней написал на ту же тему другое стихотворение «Из поэмы: «Мать», которым и заменил «Затворницу». Предположим, что я не согласен с поэтом; что первый вариант мне нравится больше второго,—было бы дико, если бы я, редактируя эти стихи, вздумал руководствоваться своим читательским мнением. Последняя авторская воля для каждого текстолога священна, и редактор лишь тогда имеет право изменить в окончательном тексте хоть единое слово, если будет доказано, что этот текст пострадал от цензуры. В таких случаях редактор, конечно, обязан освободить страницы воспроизводимого текста от увечий, нанесённых рукою врага.

В стихотворении Некрасова, посвящённом Белинскому, долгое время держался такой вариант:

И о тебе не скажет ничего
Своим потомкам ветреное племя.

Прошло восемнадцать лет, и поэт, перепечатывая стихотворение, внёс в последнюю строку такую поправку:

Своим потомкам сдавленное племя

Но не удовлетворился и этим эпитетом и через несколько лет напечатал:

Своим потомкам сдержанное племя.

Предположим, что «сдавленное» кажется мне наиболее точным эпитетом и что окончательный вариант я считаю ошибочным; моё мнение не имеет здесь ни малейшей цены, и я обязан, не прекословя, исполнить отчётливо выраженную волю поэта.

Но тут-то и встаёт перед нами главнейшая трудность, чрезвычайно усложняющая нашу работу и требующая от нас особенно тонких приёмов исследования, без применения которых мы неизбежно рискуем вступить на зыбкую почву случайных и произвольных решений. Трудность эта заключается в одной своеобразной специфике некрасовских рукописей, из-за которой исследователям бывает не так-то легко уяснить себе, в каком из двух или нескольких текстов воплощена последняя воля Некрасова.

Дело в том, что многих «окончательных текстов» Некрасова у нас нет и не может быть. Мы не имеем права считать окончательными его беловые автографы, хотя они действительно завершают собою всю его длительную работу над текстами и тщательно отделаны им для печати. Это наиболее обдуманные, наиболее совершенные в художественном отношении тексты, и всё же они не во всех своих частях одинаково авторитетны для нас, потому что именно на последнем этапе работы, перед тем, как отдавать их в печать, Некрасов вынужден был всячески приспособлять их к цензуре. Они были наименее достоверны в политическом отношении; поэтому все те места, в которых выражается политическое кредо поэта, мы должны восстанавливать отнюдь не по этим окончательным рукописям, а по каким-то другим, более надёжным источникам.

Чтобы выполнить окончательную волю поэта, мы часто бывали вынуждены применять комбинированный метод репродукции текста.

Впервые с этим комбинированным методом я столкнулся лет сорок назад, когда в Саратове мне случайно привелось обнаружить полустёртый карандашный автограф Некрасова: три страницы «Недавнего времени». На одной из этих страниц я с трудом прочитал такие никому в то время не известные строки:

Помню я Петрашевского дело,
Нас оно поразило, как гром,
Даже старцы ходили несмело,
Говорили негромко о нём.
Молодёжь оно сильно пугнуло,
Поседели иные с тех пор,
И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.
Вряд ли были тогда демагоги,
Но сказать я обязан, что всё ж
Приговоры казались нам строги,
Мы жалели тогда молодёжь.

Иные строки приходилось угадывать, так как они были написаны лишь первыми буквами, которые к тому же еле поддавались прочтению. Например, строка:

И декабрьским террором пахнуло

была написана так:

И дек. т. пах.

Имею ли я право ввести найденный отрывок в «Недавнее время»? — спрашивал я себя и не знал, что ответить. По своим литературным достоинствам отрывок этот нисколько не ниже всего прочего текста, его стиховая фактура отличается той добротностью интонаций и слов, какая не свойственна черновому наброску, но всё же это не окончательная наборная рукопись. Беглые карандашные строки, записанные кое-как неразборчивым почерком, с незаконченными словами, без знаков препинания, без учёта корректорских требований, явно не предназначались поэтом для сдачи в набор. Они, как выяснилось после детального ознакомления с ними, представляли собой тот промежуточный текст, который непосредственно предшествовал беловой окончательной рукописи. Авторитетен ли для нас этот текст? Вправе ли мы пользоваться им при выработке канонических текстов? Выразилась ли в нём последняя воля поэта?

После долгих колебаний я в конце концов пришёл к убеждению, что, поскольку дело касается цензурных искажений, смягчений и вымарок, такие «преднаборные», ещё не перебелённые рукописи авторитетнее всяких других. В то время — да и гораздо позднее — это казалось ересью. Текстологи формалистского толка требовали педантической (и, я бы сказал, фанатической) верности беловому, «окончательному» тексту — даже при наличии явных увечий, нанесённых ему автоцензурой.

Помню, какие ожесточённые споры были вызваны следующими строками поэмы «Кому на Руси жить хорошо», отсутствующими в окончательном тексте:

Как ни темна вахлачина,
Как ни забита барщиной
И рабством — и она,
Благословясь поставила
В Григорье Добросклонове
Такого посланца.
Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.

Особенно горячо возражал против включения этих строк в канонический текст один из лучших наших некрасоведов, покойный А. Я. Максимович, имеющий, как известно, большие заслуги в деле научного сбследования некрасовских рукописей.

Свои возражения он мотивировал тем, что в беловом тексте, который самим Некрасовым был подготовлен к печати, эти строки представлены в другом варианте. По мнению Максимовича, их-то и надлежало ввести в канонический текст, ибо они выражали окончательную волю поэта.

С его мотивировкой я не мог согласиться. Он был бы прав в своей апелляции к беловому варианту, если бы дело шло об установлении текстов, скажем, Батюшкова, Баратынского, Жуковского, Тютчева. Но нельзя же забывать, что Некрасов был революционный поэт, вынужденный всю жизнь работать в подцензурной печати, и что его беловые автографы часто являют собой варианты, наиболее приспособленные к требованиям цензурного ведомства, то есть, с нашей точки зрения, наиболее испорченные.

Некрасов и сам говорил об одной из своих поэм: «Кончивши, начну её портить; может, и пройдёт, если вставить несколько верноподданнических стихов». И о другой: «Думаю, что в таком испакощенном виде (какой он придал законченному тексту поэмы, чтобы сделать его наиболее «легальным») цензура к ней придраться не могла бы», то есть сам указывал, что беловые рукописи этих поэм, искажённых под давлением цензуры, не выражают его авторской воли и что, значит, те рукописи, которые непосредственно предшествуют им, выражают эту волю гораздо полнее, точнее и правильнее, поскольку дело касается политического их содержания.

Конечно, во всём остальном для нас авторитетны, важны, обязательны лишь последние прижизненные тексты Некрасова, наиболее обработанные великим художником слова, но в отношении отдельных фрагментов, имеющих политический смысл, мы непременно должны обращаться к тем рукописям, которые непосредственно предшествуют беловому автографу, ибо в них-то выразилась последняя воля поэта.

Максимович утверждал, что стихи о Добросклонове, взятые из более ранней некрасовской рукописи, представляют собой черновик. Но можно ли согласиться с его утверждением? Эти строки стоят на самом высоком уровне некрасовского мастерства. Их словесная фактура превосходна. Я уже не говорю о том, что они несут огромную

смысловую нагрузку, так как именно в них заключается вся биография одного из главных персонажей поэмы. Ясно, что Некрасов отказался от них скрепя сердце и что, вводя их в канонический текст, мы голько выполняем его волю.

Разве не чувствуется давление цензуры в том варианте этих замечательных строк, который был предназначен Некрасовым для напечатания в тексте поэмы:

И юноша, отмеченный
Печатью дара божьего,
Стал пылким и восторженным
Певцом освобождения
Униженных, обиженных
На всей святой Руси.

Здесь, в этом печатном варианте, нет и намёка на то, что Добросклонов — агитатор, бунтарь, будущий организатор народных восстаний. «Печать дара божьего» воспринимается здесь, как литературный талант слагателя восторженных гимнов, прославляющих какое-то невнятное «освобождение обиженных», то есть чуть ли не «раскрепощение» крестьян, учинённое по манифесту Александра II. Можно ли предпочесть эти двусмысленные и явно приспособленные к цензуре стихи тому варианту, где прямо говорится о революционной подпольной работе? Не ясно ли, что здесь, как и во множестве подобных же случаев, наиболее выражающим авторскую волю Некрасова является не самый последний из всех вариантов, «испакощенный» им ради приспособления к цензуре, а предпоследний, находящийся в рукописи, непосредственно предшествующей беловому наборному тексту.

Повторяю: заслуги Максимовича в области некрасоведения неоспоримо велики. Но даже для первоклассных текстологов были величайшей помехой те топорные, прямолинейные методы, какие господствовали в текстологии тех лет и до сих пор не изжиты до конца.

В 1877 году, стремясь провести через цензуру «Пир — на весь мир», Некрасов попытался смягчить гениальную солдатскую песню, входящую в эту поэму. В доцензурной рукописи было:

Ну-т-ка, с Георгием по миру,
по миру!

то есть указывалось, что при царском режиме герой, получивший за храбрость Георгия, был вынужден, как нищий, просить подаяния. Приноравливая эту строчку к цензуре, Некрасов написал в беловом варианте:

Ну-т-ка, служивенький, по миру,
по миру!

Максимович требовал, чтобы я воспроизвёл в каноническом тексте этот беловой вариант единственно на том основании, что он — беловой. Между тем для меня не было и тени сомнения, что вариант со «служивеньким» есть результат автоцензуры, так как изобразить бесприютным и нищим отверженцем георгиевского кавалера было, говоря на языке цензоров, более «дерзко», чем просто «служивеньким».

Итак, вот второе важнейшее правило текстологической работы над стихами Некрасова: уверенно опираясь на окончательный прижизненный текст, мы, поскольку дело идёт о стихах, имеющих политический смысл, должны вносить в этот текст коррективы по непосредственно предшествующим рукописям, которые можно условно назвать «преднаборными». Если предположить, что какое-нибудь стихотворение Некрасова дошло до нас в четырёх вариантах, отражающих все стадии его работы над рукописями, не может быть сомнения, что наибольшую ценность для нас (в отношении стихов политического характера) имеет не четвёртый, а третий, в редких случаях — второй, так как авторская воля воплощается именно в нём. Во всём же остальном мы должны непременно придерживаться четвёртого, то есть самого последнего текста.

5

За исключением очень немногочисленных случаев, Некрасов печатал каждое своё стихотворение дважды: сначала на страницах журнала, а потом в одной из своих книг, озаглавленных «Стихотворения Н. Некрасова».

В последнее время некоторые рецензенты и критики стали всячески отстаивать тексты, которые публиковались в журналах. Это ошибка, грозящая большими опасностями. Для меня даже не существует вопроса, какому же из двух вариантов — журнальному или книжному — мы должны отдавать предпочтение. Я давно уже убедился на опыте, что ко всем без исключения стихам, которые Некрасов печатал в журналах, цензура относилась с удвоен-

ной строгостью и предъявляла к ним такие суровые требования, каких не смела предъявлять к тем же текстам, когда они после появления в журнале печатались в какой-нибудь из некрасовских книг.

Такова была обычная цензурная практика, ибо журналы печатались для сравнительно широкого круга читателей, а книги — небольшим тиражом. Практика эта неизменна. О ней свидетельствуют десятки и сотни примеров, из которых я приведу только пять или шесть.

Напомню, например, цензурную судьбу одного четверостишия Некрасова, которое в «Современнике» (1863, № 9) было напечатано так:

Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
. . . . . .

Четвёртая строка, придававшая стихотворению главную силу, была вычеркнута и заменена многоточием, а в книге «Стихотворений Н. Некрасова» (1869) она напечатана полностью:

Барабанов, цепей, топора.

То же произошло и со стихотворением «Поэту». В «Отечественных записках» (1874, № 9) оно начиналось такими строками:

Где вы,— певцы любви, свободы, мира
И доблести?.. Век «крови и меча»!
На трон земли ты посадил банкира
. . . . . .

Четвёртая строка в журнальном тексте опять-таки не дошла до читателя: её заменили точки. Но при перепечатке стихотворения в книге «Последние песни» Некрасов уничтожил эти цензурные точки и восстановил отсутствовавшую в журнале строку:

Провозгласил героем палача...

То же самое случилось позднее и с «Русскими женщинами».

При появлении этой поэмы в журнале Некрасов под гнётом цензуры был вынужден заменить многоточиями строки о сосланных в Сибирь декабристах:

(Мне новостью были оковы на них,
Что их закуют — я не знала)...

Но когда через несколько месяцев поэма была перепечатана в пятой части «Стихотворений Н. Некрасова» (2-е изд.), — эти же строки появились там без всяких купюр.

Как различно было отношение цензуры к журнальным и книжным текстам, показывает история стихотворения «Суд». Когда Некрасов попытался напечатать его в «Отечественных записках», оно было вырезано из книжки журнала. Но не прошло и года, как поэт включил тот же «Суд» в собрание своих стихотворений (1869), и там эта сатира прошла без малейших изъятий. Мало того: в ней появилось 12 стихов, которых не было в журнальном варианте «Суда».

До каких нелепостей привело бы текстолога доверие к первопечатным вариантам стихов, можно видеть из следующей очень типичной истории двух известных сатир — «Филантроп» и «Княгиня», впервые напечатанных в 1856 году в «Современнике». В журнале «Княгиня» начиналась такими стихами:

В век Екатерины — и никак не ближе
Началась в России, кончилась в Париже
Вот какая притча: старое преданье
Мы теперь расскажем внукам в
назиданье.

Эти строки были, так сказать, принудительными. Здесь обычный некрасовский заслон от цензуры. Ибо на самом-то деле в «старом преданье», относившемся якобы к давнему веку, поэт откликался на свежую великосветскую новость, которая в ту пору была злободневной.

Изуродованная под давлением цензуры «Княгиня» появилась в «Современнике» в апреле. А 14 мая, то есть по прошествии двух-трёх недель, та же цензура разрешила к печати ту же сатиру Некрасова — уже без этих злостных искажений, так как на этот раз сатира предназначалась для напечатания в книге «Стихотворений Некрасова» (1856). В книге поэт зачеркнул вынужденные стихи о «веке Екатерины» и о «старом преданье», и, конечно, мы поступили бы весьма опрометчиво, если бы в каком-нибудь новом издании Некрасова вздумали реставрировать эти стихи.

Ещё показательнее те искажения, которые претерпел «Филантроп» при своём первом появлении в журнале. Это стихотворение было тогда злободневным. Но, чтобы провести его в журнал, Некрасову под нажимом цензуры пришлось приурочить его к далёкому прошлому, чуть ли не к тому же «веку Екатерины», и, главное, придать ему форму хвалы: то есть под прикрытием

еле заметной иронии прославить то самое, что он хотел обличить. В журнале «Филантроп» начинался такими словами:

Бедных петербургских жителей,
Стариков, сирот и вдов
Общество благотворителей
Приняло под свой покров.
. . . . . .
Слава богу! между знатными
Нынче в моде, так сказать,
Не советами печатными,
Самым делом помогать:
Вот обычай утешительный!
А то в прежние года
Был со мною удивительный,
Странный случай, господа!

Правда, эти слова о «знатных» благодетелях произносит не сам поэт, а его персонаж, но всё же вышеприведённые строки в значительной степени искажали смысл всего «Филантропа». И замечательно, что, едва только «Филантроп» из журнала перешёл на страницы некрасовской книги, цензура отнеслась к нему совершенно иначе, и поэт получил возможность уничтожить все эти шестнадцать стихов, написанных им, так сказать, из-под палки.

В один и тот же год один и тот же цензор относился к одному и тому же стихотворению Некрасова то более, то менее строго, в зависимости от того, где это стихотворение печаталось [1].

Формы правительственного угнетения прогрессивной печати неоднократно менялись при жизни Некрасова: в 1865 году, например, предварительная цензура была уничтожена, и правительство вместо неё учредило цензуру карательную. Но как бы ни менялось цензурное ведомство, вышеуказанный принцип в его отношениях к журналам и книгам оставался всегда неизменным.

Нельзя назвать ни единого случая, когда какое-нибудь стихотворение Некрасова пользовалось бы большей цензурной «свободой» (хотя бы в кавычках) при печатании на страницах журнала, чем оно пользовалось ею при печатании в книге.

Но даже если бы не существовало этих цензурных причин, мы всё же должны отдавать предпочтение текстам, напечатанным в книге, потому что они — более поздние.

6

Всё это азбука, и я не стал бы распространяться о ней, если бы, повторяю, не обнаружил, к своему огорчению, что её и сейчас игнорируют даже наиболее серьёзные из наших рецензентов и критиков.

В прошлом году, например, в журнале «Советская книга» появилась рецензия о «Полном собрании сочинений и писем Н. А. Некрасова», вышедшем в двенадцати томах в Гослитиздате.

Рецензия дельная и во многих отношениях правильная. Тем прискорбнее, что её автор, т. Гайденков, по какой-то непонятной причине проявил упорное пристрастие именно к первопечатным журнальным некрасовским текстам, то есть к таким, которые меньше всего выражают авторскую волю писателя.

С большим удивлением я прочитал у него такую похвалу моей работе над текстами «Русских женщин»:

«Говоря о других декабристских поэмах Некрасова («Княгиня Трубецкая» и «Княгиня М. Н. Волконская». — *К. Ч.*), хочется подчеркнуть, что редактор совершенно правильно поступил, избрав варианты первопечатного (?!), а не рукописного и корректурного текста».

Такая похвала хуже всякой хулы. Ибо первопечатные тексты обеих частей «Русских женщин» (то есть те, что появились в «Отечественных записках» в 1872 и 1873 годах) получили столько увечий от царской цензуры, что было бы с моей стороны преступлением воспроизводить этот наиболее «испакощенный», по выражению самого Некрасова, текст.

Дело обстояло совершенно иначе. Найдя в одном частном архиве подлинную рукопись «Княгини М. Н. Волконской», я получил счастливую возможность избавить поэму от тех искажений, которые безобразили её чуть не полвека. Наиболее искажены были, конечно, первопечатные журнальные тексты, те самые, которые кажутся критику наиболее правильными, и я начисто отказался принимать их в расчёт. За несколько лет до того В. Е. Евгеньев-Максимов нашёл доцензурную рукопись «Княгини Трубец-

[1] Существует лишь одно исключение: двухтомник 1861 года, составлявшийся под впечатлением репрессий, которым подвергались стихотворения Некрасова, воспроизведённые Чернышевским на страницах журнала. (См. полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского, т. 1, М. 1939, стр. 752). Поэтому двухтомник 1861 года и не принимается нами в расчёт.

кой», и, конечно, я счёл своим редакторским долгом именно эти две драгоценные рукописи положить в основу канонического текста поэмы Некрасова, отчего вся поэма зазвучала по-новому.

И в журнальном и во всех досоветских изданиях поэмы печатались, например, такие стихи о декабристах, подготовлявших восстание:

стояли они настороже,
Готовя несчастье отчизне своей.

Так что прежний читатель был вправе подумать, будто устами своей героини Некрасов высказывал осуждение революционным бойцам, готовившим несчастье своей родине.

Но, как обнаружилось в найденных рукописях, у Некрасова на самом деле было сказано так:

стояли они настороже,
Готовя войска к низверженью властей.

И, конечно, я поспешил заменить этим новым стихом ту лживую подцензурную строчку, где декабристы трактовались как враги своей родины.

Так же недостоверна была, например, та первопечатная строка «Трубецкой», где героиня обращалась к Петербургу с такими словами:

Гнездо всех бед, прощай!

из чего прежние читатели могли заключить, что к бедам причисляется восстание декабристов.

Между тем на самом-то деле в некрасовской рукописи было сказано так:

Гнездо царей, прощай!

Подобными вариантами первопечатного текста политический смысл поэмы был так извращён, что один из писателей радикального лагеря счёл возможным на основании этого текста упрекнуть Некрасова в слишком мягком и даже доброжелательном (!) отношении к царю Николаю I.

Откуда же было этому писателю знать, что в подлинной некрасовской рукописи есть, например, такие стихи о царе:

Да, цепи! Палач не забыл ничего
(О мстительный трус и мучитель!)

А также такие четыре строки о том же царе и его приближённых:

Нет, нет, я видеть не хочу
Продажных и тупых,
Не покажусь я палачу
Свободных и святых.

Нынче эти строки знает наизусть каждый школьник, их декламируют на каждой эстраде, и, конечно, вводя их впервые (с десятками подобных же строк) в один из однотомников стихотворений Некрасова, я тем самым очень далеко отошёл от первопечатного текста.

Здесь-то, в работе над «Русскими женщинами», и обнаружилась особенно рельефно вся сложность и трудность текстологических проблем, связанных с литературным наследием Некрасова. Ибо и в рукописи этой поэмы текст был далеко не всегда полноценный. Там было много сомнительных мест, так что редактору приходилось производить самый строгий отбор среди имеющихся вариантов,— одни принять, а другие отвергнуть. В разное время два ленинградских исследователя, С. Рейсер и А. Максимович, предлагали различные планы реставрации этой поэмы. В каждом плане были свои хорошие стороны, но ни с одним из них в целом я не мог согласиться и предложил издательству свой вариант, который в окончательном виде вошёл в третий том «Полного собрания сочинений и писем Н. А. Некрасова».

Можно ли считать этот вариант доброкачественным? Является ли он наиболее правильным из всех возможных вариантов поэмы или я так и не достиг своей цели? Вопрос этот очень важен, ибо касается дальнейших изданий великой поэмы Некрасова. В ответе на этот вопрос живо заинтересованы миллионы советских читателей.

Но именно на этот вопрос критика и не даёт им ответа. Долгая и сложная история реконструкции этой поэмы остаётся до сих пор неизученной. И находятся рецензенты, которые даже высказывают одобрение за то, что я, не производя будто бы никакой реконструкции, просто придерживаюсь первопечатного (то есть наиболее лживого!) текста.

Такое тяготение к первопечатному тексту приводит исследователей к столь же неверной трактовке заключительного двустишия «Дедушки».

В первом печатном тексте двустишие читалось:

Скоро уж, скоро узнает
Саша великую быль.

Но в последнем прижизненном издании Некрасов изменил в нём эпитет, и теперь двустишие читается так:

Скоро уж, скоро узнает
Саша печальную быль.

Это вполне законное отступление от первопечатного текста показалось рецензенту сомнительным.

Очевидно, он полагает, что замена «великой были» «печальною былью» произведена по цензурным причинам. Нетрудно убедиться, что такое предположение ошибочно. Стоит только взглянуть на одну из предыдущих страниц поэмы, где имеются такие стихи про старика-декабриста:

Пел он о славном походе
И о великой борьбе.

«Великая борьба» — эти слова без помехи печатались во всех прижизненных изданиях «Дедушки», из чего следует, что тогдашняя цензура не возбраняла Некрасову называть борьбу декабристов с царизмом великой.

Значит, дело совсем не в цензуре. Почему бы стала она по капризу разрешать этот эпитет на 17-й странице поэмы и запрещать его на 19-й? Дело в том, что, заменяя один эпитет другим, Некрасов пытался тем самым выразить своё дифференцированное отношение к восстанию двадцатых годов: борьбу с деспотизмом он называл «великой борьбой», а победу деспотизма — «печальною былью» и этими словами показал, что неудача революционного восстания в России вызывает у него глубокую скорбь.

Стало быть, у рецензента не было никаких оснований тревожиться: эта строка напечатана верно [1].

7

Здесь необходимо напомнить ещё одно правило — четвёртое, — которое должно быть соблюдаемо с особою строгостью при выработке канонических текстов Некрасова. Правило это заключается в следующем: как бы ни было ценно содержание тех или иных строк или целых фрагментов, найденных нами в некрасовских рукописях, мы не имеем права внедрять их в последний прижизненный текст, если их художественная форма не обладает теми высокими качествами, какие присущи форме последнего прижизненного текста.

То есть иными словами: стремясь освободить стихотворения Некрасова от цензурных искажений и пропусков, мы нанесли бы этим стихотворениям непоправимый ущерб, если бы вздумали втискивать в них недоработанные, сырые, черновые наброски, хотя бы эти наброски и не могли быть дозволены царской цензурой.

Об этом правиле забывали не раз. Так, в одной из своих книг, посвящённых Некрасову, А. М. Еголин предъявил ко мне требование ввести в стихотворение «Рыцарь на час» следующие строки, относящиеся к первоначальной редакции:

В эту ночь со стыдом сознаю
Бесполезно погибшую силу мою...
И трудящийся, бедный народ
Предо мною с упрёком идёт,
И на лицах его я читаю грозу
И в душе подавить я стараюсь слезу...
. . . . . .
. . . . . .
Да! теперь я к тебе бы воззвал,
Бедный брат, угнетённый, скорбящий!
И такою бы правдой звучал
Голос мой, из души исходящий,
В нём такая бы сила была,
Что толпа бы за мною пошла.

Идейная значительность этих двух шестистиший не подлежит никакому сомнению, и, конечно, нельзя не пожалеть, что Некрасов оставил их в неотделанном виде. Вся их фактура показывает, что это ещё черновик. Такие выражения, как «итти с упрёком» («с упрёком идёт»), «на лицах его», «тебе бы», «такою бы», «такая бы», «толпа бы», и многое другое наглядно свидетельствуют, что перед нами стиховая «заготовка», стиль которой ещё не доведён до того совершенства, каким отличается окончательный текст величайшего шедевра некрасовской лирики.

«Рыцарь на час» замечателен тем, что в нём единое могучее дыхание, которое невозможно прервать ни на миг, пока не дойдёшь до последнего слова. Это вдохновенное произведение Некрасова монолитно, между всеми его частями такая нерасторжимая связь, что буквально некуда вставить эти двенадцать стихов. В процитированном раннем варианте стихи эти помещены между 79 и 201 стихами, но в окончательном тексте развитие темы пошло по другому руслу

[1] В цензурном смысле выражение «печальная быль» является даже более «дерзким», чем «великая быль», ибо сокрушаться о разгроме освободительного движения в России было, конечно, большим криминалом.

и весь отрывок оказался в стороне. Внести его в окончательный текст значило разрушить его композицию. Поэтому я не ввёл его в текст, а напечатал отдельно, что и вызвало следующий гневный упрёк со стороны А. М. Еголина.

«Этот изумительный отрывок, раскрывающий проблему (?) Некрасова-поэта и его связь с массами, К. Чуковский, редактор «Полного собрания стихотворений Некрасова», запрятывает в отдел «Примечаний», в свои комментарии к «Рыцарю на час». К. Чуковский не видит той исключительной ценности, которую имеет приведённый отрывок. Впрочем, К. Чуковский рассуждает по вопросу о связи Некрасова с массами иначе. Он пишет (в статье «Формалист о Некрасове»): «Ни о каком слиянии с толпой Некрасов никогда не говорил». И там же: «Некрасов до конца своих дней трактовал эту тему по-пушкински; в его поэтику входило чисто пушкинское презрение к толпе...».

Стоит только перелистать стихотворения Некрасова, чтобы убедиться, что эти странные упрёки не заслужены мною, ибо Некрасов действительно ненавидел толпу. Толпа в его стихах неизменно является синонимом пошлого и косного сброда, воплощением затхлого филистерства. Вспомним хотя бы такие стихи:

Не верь толпе—пустой и лживой...

Венец, толпой немыслящею
свитый...

Остервенелая толпа...

По ней громадная,
К соблазну жадная
Идёт толпа.

«Пустая», «лживая», «немыслящая», «жадная» к мишурным соблазнам — вот какова толпа в представлении Некрасова. Кроме того, она душительница всего благородного:

Толпа гласит: «певцы не нужны веку!»
И нет певцов. Замолкло божество...

Не значит ли это, что, по убеждению Некрасова, толпа и народ диаметрально противоположны друг другу? Поэт сурово порицал тех писателей, которые вместо того, чтобы творить для народа, пытаются подладиться к толпе:

Напрасно быть толпе угодней
Ты хочешь, поблажая ей —
Твоё призванье благородней,
Писатель родины моей!

Проклиная и ненавидя толпу, Некрасов всегда противопоставлял ей народ, трудящиеся массы. В одной из его позднейших элегий есть двустишие, где это противопоставление толпы и народа выражено особенно чётко:

Толпе напоминать, что бедствует
народ
В то время, как она ликует и поёт...

Если бы А. М. Еголин вспомнил об этих стихах, он непременно согласился бы со мною, что в поэтику Некрасова «входило чисто пушкинское презрение к толпе». Но он, вопреки Некрасову, отождествил толпу с народной массой и, не обращая внимания на то, что перед ним неполноценный в художественном отношении отрывок, настаивал, чтобы я самовольно включил этот черновик в одно из самых совершенных стихотворений Некрасова.

Между тем наиболее убедительным доказательством, что данный набросок представляет собой черновик, и является обнаруженное в этих строках смешение «толпы» и «народа», какого нет ни в одном стихотворении Некрасова. Зная устойчивость некрасовской лексики, можно не сомневаться, что в дальнейшей работе над этим отрывком поэт устранил бы неверное слово, грозившее разрушить ту систему поэтических образов, которой он неизменно придерживался во всём своём творчестве.

Таким образом задача редактора «Собрания стихотворений Некрасова» заключалась не только в том, чтобы вводить туда такие поправки, которые наиболее соответствуют авторской воле, но также и в том, чтобы свято оберегать его тексты от незаконного вторжения черновых, неотделанных, художественно неполноценных стихов.

8

Следует ли из всего вышесказанного, что текстолог должен быть простым автоматом, машинально воспроизводящим последний, даже заведомо испорченный текст? Напротив, мы только что видели, что критический анализ публикуемых текстов есть его прямая обязанность. Если нам достоверно (достоверно!) известны те неблагоприятные причины, которые, даже помимо цензурных воздействий, способствовали ухудшению текста и нанесли какой-нибудь ущерб его смыслу, мы обязаны во что бы то ни стало устранить этот ущерб.

Таково пятое правило нашей текстологической практики.

К некрасовским текстам приходилось применять его сравнительно редко, в самых исключительных случаях. Приведу один из них — наиболее наглядный. В сатире «Современники» есть во второй части такое двустишие:

...Выступил новый оратор,
Меняло — писклива была его речь!

В этой речи излагался чудовищно пошлый проект — об устройстве центрального дома терпимости в грандиозном государственном масштабе.

В ту пору менялами были скопцы, и Некрасов намекает на это, говоря о пискливости речи, которую произносит меняло. То был очень выразительный штрих: во главе гигантского дома терпимости ставилась ассоциация евнухов.

Но, очевидно, опасаясь, что цензура не разрешит тех стихов, где приводится речь скопца, Некрасов для этого случая заготовил такой вариант:

...Выступил новый оратор,
Меняло,— но я прозевал его речь!

Ясно, что этот вариант предполагалось использовать лишь в том случае, если бы речь менялы не могла появиться в печати.

Но цензура не изъяла этой речи, и заготовленный вариант оказался ненужен. Речь беспрепятственно появилась в последнем из прижизненных изданий Некрасова («Последние песни», 1877, стр. 77—78).

Однако, работая над «Последними песнями» во время мучительной смертельной болезни, Некрасов не мог уже с прежней внимательностью править свои корректуры. Вследствие его недосмотра в это издание проник вариант:

...Выступил новый оратор,
Меняло,— но я прозевал его речь! —

хотя из ближайших же строк можно видеть, что автор совсем не прозевал этой речи, так как она полностью приводилась на той же странице. Выходило, что он и слышал речь и не слышал её. Должны ли мы воспроизводить явный недосмотр Некрасова? Ведь всякому ясно, что это бессмыслица, которую сам автор, к сожалению, не мог устранить, так как правил корректуру буквально на смертном одре. По этой трагической причине «Последние песни» изобилуют такими опечатками, каких не было и быть не могло ни в одном из предыдущих изданий Некрасова. Нужно было нечеловеческое усилие воли, чтобы работать над книгой среди ужасных страданий, которые причиняла умирающему поэту болезнь. Поэтому в канонический текст «Современников» я, не считаясь в данном случае с окончательным текстом, ввожу следующий заимствованный из ранней редакции стих:

Меняло — писклива была его речь!

Нельзя же не учитывать тех обстоятельств, при которых воплощалась в данном произведении искусства последняя воля автора. Эти обстоятельства нужно знать досконально, до мельчайших подробностей. Ничего не знает о текстах Некрасова тот, кто одни только тексты и знает. Их нельзя изучать в изолированном виде, вне связи со всеми обстоятельствами личной и общественной жизни писателя, ибо советский текстолог не имеет права быть только текстологом. Он должен быть историком, социологом, литературоведом и, кроме того, ему должна быть детально известна вся подлинная биография автора, произведения которого он редактирует. Иначе он на каждом шагу рискует попасть впросак. Возьмём хотя бы тот вариант одного отрывка из поэмы «В. Г. Белинский», который на поверхностный взгляд является для нас обязательным, так как он представляет собою последний прижизненный текст. В этом отрывке есть такие стихи о секретном комитете, который был основан Николаем I для удушения прогрессивной печати:

По счастью, в нём сидели люди
Честней, чем был один из них,
Фанатик ярый Бутурлин,
Который, не жалея груди,
Беснуясь, повторял одно...
и т. д.

Если не знать обстоятельств, при которых были написаны эти стихи, нужно было бы ввести их в окончательный текст, так как они, по всей видимости, отражают последнюю творческую волю поэта. Правда, они значительно хуже предшествующих вариантов, но субъективные оценки — не дело текстолога: за свои стихи отвечает Некрасов. Правда, во втором и третьем стихе утрачена рифма, которая в предыдущем варианте звучала так чётко и звонко:

Честней, чем был из них один
Палач науки Бутурлин

Но и это не служило бы помехой, если б мы не знали, что приведённые строки Некрасов восстанавливал в памяти в августе 1877 года, то есть в тяжёлый период своей предсмертной болезни, когда из-за приступов невыносимой физической боли он вынужден был прибегать к сильнодействующим наркотическим средствам, главным образом к опию, а это — он сам признавал! — ослабляло его контроль над своими писаниями.

Хаос! мечусь в беспамятстве, в бреду!—

характеризовал он этот предсмертный период.

«Из страха и нерешительности и за потерею памяти,— писал он тогда,— я перед операцией испортил в поэме «Мать» много мест, заменив точками иные строки».

Эта-то «потеря памяти» и сказалась в вышеприведённой описке, уничтожившей рифму.

Здесь нужно принять во внимание и ещё одно обстоятельство, связанное с последними месяцами жизни Некрасова. Зная, что смерть близка, поэт с судорожным напряжением угасающих сил стал готовить будущее посмертное издание своих сочинений. Он мечтал, что это издание будет сильно расширенным, что туда войдут образцы его прозы, а также такие стихи, которые в прежнее время были под цензурным запретом. К этим стихам относилась и поэма «В. Г. Белинский». Тот отрывок из неё, который процитирован выше, и являет собой попытку сделать этот текст наиболее приемлемым для царской цензуры. Иначе Некрасов не заменил бы своей меткой и беспощадной строки:

Палач науки Бутурлин

следующим бледным вариантом:

Фанатик ярый Бутурлин.

Первый вариант был злее и резче и, главное, более соответствовал истине: бездушный карьерист Бутурлин меньше всего походил на фанатика; это был ловкий придворный, раболепно (и отнюдь не бескорыстно) творивший волю своего повелителя.

В дальнейших стихах поэт напоминает о том, что мракобес Бутурлин жаждал уничтожить в России науки и предъявлял к властям изуверское требование:

Закройте университеты!

А это окончательно убеждает нас в том, что «палач науки» есть для него наиболее верный эпитет, наиболее соответствующий представлениям Некрасова об этом николаевском опричнике.

Процитированный выше отрывок из поэмы «В. Г. Белинский» входит в дневниковую запись Некрасова от 28 августа 1877 года, но, если всмотреться внимательнее, перед нами не столько дневник, сколько руководство для будущего редактора посмертного издания его сочинений: поэт подсказывает этому редактору те аргументы, при помощи которых ему надлежит добиваться цензурного разрешения поэмы.

В этом нас больше всего убеждает некрасовская сноска к тем строкам его записи, где говорится о секретном комитете 1848—1855 годов:

«Комитет для разбора литературных злоупотреблений».

Можно сказать с полной уверенностью, что сноска эта не только не выражает подлинной мысли Некрасова, но и находится в кричащем противоречии с ней, ибо в своё время поэт имел множество случаев убедиться на собственном опыте, что у названного комитета была другая задача: беспощадный разгром прогрессивной печати и в первую голову расправа с его «Современником». Написать об этом цензурном застенке, будто он ставил перед собой такую невинную и даже благородную цель, «как разбор литературных злоупотреблений», Некрасов мог лишь для того, чтобы облегчить будущему редактору борьбу за напечатание запрещённой поэмы.

Словом, нельзя сомневаться, что весь этот фрагмент создавался в предвидении вмешательства цензурных инстанций и, так сказать, с учётом их будущих требований. Следовательно, у нас нет оснований считать этот текст каноническим, выражающим окончательную волю поэта. Изучение всех обстоятельств, при которых возник этот текст, заставляет нас отвергнуть его.

Таких случаев очень мало, и если я упоминаю о них, то исключительно ради того, чтобы продемонстрировать на конкретном примере, до какой степени неприменим в текстологии слепой, автоматический подход к материалу.

9

Знание всех обстоятельств, при которых было создано то или иное произведение редактируемого нами писателя, может

иногда привести к обнаружению ценнейшего текста, имеющего большой политический смысл. Так и случилось недавно со стихотворением Некрасова, которое в «Полном собрании» его сочинений носит заглавие «Тургеневу» и начинается такими строками:

Мы вышли вместе... Наобум
Я шёл во мраке ночи.

Стихотворение это известно нам в трёх вариантах, и, работая над ними, мы всегда забывали, что два из них относятся опять-таки к периоду смертельной болезни Некрасова, когда, готовя посмертное собрание сочинений, умирающий был озабочен приспособлением своих старых нелегальных стихов к требованиям цензурного ведомства.

Первый вариант, находящийся в «грешневской» тетради поэта, был опубликован В. Е. Евгеньевым-Максимовым. Тетрадь относится к 1861 году. Посвящения «Тургеневу» в ней не было; вместо заглавия — три звёздочки. Исследователь тогда же высказал очень меткую мысль, что, по всем вероятиям, под тремя звёздочками скрывается фамилия Герцен. Его догадка была убедительна — ни к кому другому нельзя отнести тех стихов, которые встречаются в первой строфе:

В глаза ты правду говорил
Могучему деспоту.

Но вскоре после опубликования этих стихов покойный академик А. Ф. Кони предоставил мне другой вариант того же стихотворения — тоже автограф,— на котором имеются две собственноручные пометки Некрасова.

Первая: «Тургеневу (писано в 1861 году, когда разнёсся слух, что Тургенев написал «Отцов и детей» и вывел там Добролюбова)».

Вторая: «Т-ву (писано собственно в 1861 году, к которому и относится. Теперь я только поправил начало)».

Публикуя этот новонайденный текст, я в то время ещё не мог догадаться, что в нём, как и в поздней редакции отрывка из поэмы «В. Г. Белинский», выразилось желание Некрасова легализировать свои нелегальные рукописи. Лишь после того, как я понял, что создание того варианта, который озаглавлен «Тургеневу», вызвано стремлением поэта дать всему стихотворению возможность пройти сквозь рогатки цензуры, я по-новому переоценил оба некрасовских текста и пришёл к непоколебимой уверенности, что второй вариант нисколько не зачёркивает первого, как считалось до настоящего времени. Оба текста совершенно равноправны, причём первый (то есть, казалось бы, наименее авторитетный для нас) в данном случае ценнее второго, так как во втором иные строки явно приспособлены к цензуре. Но игнорировать второй текст мы тоже не имеем оснований, ибо Некрасов, переадресовав своё стихотворение Тургеневу, ввёл туда целые строфы, которые придали всему тексту новый, самостоятельный смысл. На это указала мне М. Я. Блинчевская, работавшая в издательстве вместе со мною и пришедшая другими путями точно к такому же выводу. Тут только я вспомнил, что, вручая мне листки, где записан этот второй вариант, академик А. Ф. Кони сказал, что они находились в той кипе некрасовских рукописей, которая относится к периоду предсмертной болезни поэта. Это даёт мне право причислить стихотворение «Тургеневу» к тому же разделу стихов, что и вышеприведённый отрывок из поэмы «В. Г. Белинский». А если это так, то первый текст отнюдь не может рассматриваться как черновой материал для второго. Это совершенно законченный текст, имеющий все права на самостоятельную литературную жизнь. Мы обязаны печатать это стихотворение под 1861 годом, без заголовка и при этом указать в комментариях, что вероятнее всего оно обращено к А. И. Герцену. А стихотворение «Тургеневу» убрать из числа стихотворений 1861 года и отнести к 1877 году [1].

Вот к каким коренным перестройкам основного корпуса стихотворений Некрасова приводит текстолога более или менее точное знание тех обстоятельств, при которых данный текст создавался.

10

Характерно, что большинство рецензентов и критиков, настаивавших на самовольном включении в некрасовский текст тех или иных новонайденных строк, почти всегда выражает уверенность, будто данные строки были изъяты из текста против воли поэта, в силу каких-то неведомых цензурных причин.

[1] Так и сделано в новом издании Н. А. Некрасова, выходящем ныне в издательстве «Правда» (приложение к журналу «Огонёк»).

Это даёт нам основание выдвинуть следующее — ш е с т о е (тоже очень важное!) — правило: для того, чтобы определить, исключены ли данные строки из текста стихов в силу цензурных условий или по собственной воле поэта, исследователь должен обладать самыми чёткими сведениями о цензурных требованиях, специфически свойственных тому периоду времени, когда печатался изучаемый текст.

Всё значение этого правила станет очевидно для каждого, если мы вспомним названную выше рецензию журнала «Советская книга», где выставлено безапелляционное требование, чтобы я включил в канонический текст некрасовской сатиры «Современники» чуть ли не все стиховые отрывки, найденные мною в рукописи этой сатиры, причём почти о каждом из этих отрывков рецензент заявлял, что тот не вошёл в окончательный текст я к о б ы п о п р и ч и н е ц е н з у р н о г о с в о й с т в а.

Среди этих «новаций» есть такая, направленная против мракобеса Каткова:

Московского Зевеса
Я там увидел снова:
Поверьте, наша пресса
Клевещет на Каткова.
Ужель у патриота
В основе убежденья
Тупая жажда гнёта
И похоть истребления?

Чтобы установить, мог ли этот набросок подвергнуться запрещению цензуры, я обратился к «Отечественным запискам» Некрасова, издававшимся в те же годы, и вскоре увидел, что в этом журнале Катков без больших околичностей назван «башибузуком», проституткой («нарумяненным погибшим созданием»), трусом, лжецом и нахалом. Это вполне убедило меня, что совсем не цензура наложила своё в е т о на вышеприведённый отрывок: уж если она разрешила журналу Некрасова уличать Каткова во лжи и нахальстве и сравнивать его с продажными женщинами, — почему стала бы она возражать против того, чтобы его именовали «московским Зевесом», одержимым жаждою «истребления» и «гнёта»?

К этому нужно прибавить, что, набросав вышеприведённые строки ещё в марте 1875 года, Некрасов не включил их даже в черновой предварительный план «Современников», который был намечен им в мае — июне. Это — непригодившаяся ему заготовка, отвергнутая им в самом начале работы. Какое же я имею право насильственно втискивать её в сатиру Некрасова, если эта заготовка не входила даже в её черновик! Конечно, её необходимо печатать, но в стороне от «Современников», отдельно, в виде приложения к сатире; так мы до сих пор и поступали, и надеюсь, что всякий исследователь, близко изучавший цензуру семидесятых годов, признает такое отношение к делу единственно правильным.

Дальше. В августовской книжке «Отечественных записок» за 1875 год в тексте сатиры «Современники» были напечатаны такие стихи:

З а л а № 6
Военный пир... военный спор...
Не знаю, кто тут триумфатор.
«А... вор! Б... вор! —
Кричит зарвавшийся оратор: —
В... ваш — не патриот,
А просто — карбонарий ярый.
Куда он армию ведёт?
Нет, лучше был порядок старый.
Солдата в палки ставь и знай,
Что только палка бьёт пороки!
Читай историю, читай!
Благие в ней найдёшь уроки:
Где страх начальства, там и честь,
А страх без палки — скоротечен,
Пусть целый день не мог присесть,
Солдат, порядочно посечен,
Пускай он ночью оставлял
Кровавый след на жёстком ложе,
Не он ли в битвах доказал,
Что был небитого дороже?»

Расшифровать эти стихи было нетрудно, тем более, что их расшифровал сам поэт.

В 1875 году попали под суд за казнокрадство и взяточничество два видных петербургских генерала—Аничков и Мордвинов. Значит, строку:

А... вор, Б... вор!

нужно читать:

Аничков вор, Мордвинов вор.

Строки:

В... ваш не патриот,
А просто — карбонарий ярый

тоже не являлись загадкой. Незадолго до того, в начале 1874 года, военным министром Д. А. Милютиным был введён в действие новый закон о воинской повинности, который водворил в царской армии более гуманные порядки и в то же время чрезвычайно усилил её военный потенциал. У Милютина было много врагов. Они высказывали именно те убеждения, какие

высказывает «зарвавшийся оратор» в вышеприведённом отрывке:

Милютин ваш — не патриот,
А просто — карбонарий ярый.
Куда он армию ведёт?..
Нет, лучше был порядок старый.
и т. д.

Сам Милютин в дневнике (от 17 января 1874 года) писал о «дерзких и нахальных статьях», печатавшихся против него в реакционных газетах, о «клеветах и вранье» «Московских ведомостей», «Гражданина» и «Русского мира».

Нападки этих враждебных Милютину органов, стремившихся вернуть вспять развитие русских вооружённых сил, и пародирует в своём стихотворении Некрасов.

Солдата в палки ставь и знай,
Что только палка бьёт пороки! —

здесь буквальное воспроизведение тех требований, которые предъявляли в то время к Милютину «ратоборцы обскурантизма», как называл он их в своём дневнике.

Рецензент убеждён, что и эти стихи исключены из некрасовской сатиры по цензурным причинам. С первого взгляда это похоже на правду: стихотворение очень резко обличает бесчеловечную жестокость казарменных нравов: «палки», «кровавый след». Но почему же, спрашивается, оно было без всяких цензурных препон напечатано в некрасовском журнале? Да потому, что и эти «палки» и этот «кровавый след» отнесены поэтом к минувшему времени, к той эпохе, которая предшествовала военным реформам 1874 года. Это порицание старых порядков цензура не могла не воспринять как косвенное восхваление новых. Ведь Некрасов высмеивает одного из врагов той «гуманной» реформы, которую только что провозгласило правительство, и тем самым как бы убеждает читателей в благодетельности этой реформы. Какой же здесь цензурный криминал? Вспомним, что и в стихотворении «Дедушка» Некрасов без всяких помех напечатал такое страстное обличение свирепой муштры в царской армии:

А недоволен парадом,
Ругань польётся рекой,
Зубы посыплются градом,
Порет, гоняет сквозь строй!
С пеною у́ рта обрыщет
Весь перепуганный полк,
Жертв покрупнее приищет
Остервенившийся волк...

Это обличение тоже могло беспрепятственно появиться в печати лишь потому, что ему был придан ретроспективный характер:

Нынче вам служба не бремя,—
Кротко начальство теперь.

Порицание старого цензура и здесь приняла за восхваление нового. Другое дело, что, обличая старое, Некрасов тем самым восставал против нового, ибо, в условиях абсолютистского строя, новое воспринималось им, как вариация старого, так что ретроспективность его сатир была мнимой: он бил по современной действительности. Но цензура никогда не дала бы ему на это своего разрешения, если бы всякий раз он не создавал иллюзии, будто то, против чего он восстаёт, уже отодвинулось в прошлое. Использование этой иллюзии дало ему возможность довести до читателей «Железную дорогу», «Дедушку», «Недавнее время». Благодаря этой иллюзии ему удалось напечатать в своих «Отечественных записках» такую, например, гневную сатиру на лихоимство и бесчеловечность тогдашних военных начальников, как «драматические сцены» Дмитрия Гирса «Калифорнский рудник». Это никогда не могло бы случиться, если бы в подзаголовке к «Калифорнскому руднику» не было сказано: «Сцены прошлого» и если бы в подстрочном примечании к «сценам» не повторялось по нескольку раз, будто речь идёт о дореформенных, уже отменённых порядках.

Потому-то в своём «Военном споре» Некрасов и мог обличать «существующее и ныне безобразие», что официально оно считалось уже аннулированным.

Если не знать всех этих обстоятельств, характерных для так называемой «эзоповской речи» шестидесятых — семидесятых годов, невозможно понять, почему же и «Орина, мать солдатская» и те строки «Дедушки», где говорится о бесчеловечном истязании солдат, не встретили цензурных препятствий при появлении в некрасовском журнале. А если учесть эти обстоятельства, вряд ли останешься при непоколебимой уверенности, что «Военный спор» был исключён из текста по цензурным причинам.

Третий стихотворный отрывок, который, по мнению критика, мы обязаны ввести в окончательный текст «Современников», называется «Новый губернатор». Критик вы-

ражает уверенность, что и этот отрывок был изъят по цензурным причинам: ведь здесь прямо говорится о том, что губернаторы, по требованию центральных властей, были обязаны взимать с местных крестьян недоимки:

Недоимку! недоимку!
Остальное — трын-трава!

Но если мы вновь обратимся к «Отечественным запискам» семидесятых годов, мы встретим там немало указаний на точно такие же факты. То была излюбленная тема передовой журналистики семидесятых годов—тема, которую «Отечественные записки» в ту пору трактовали особенно часто. (См. например, майскую книжку 1875 года, стр. 157 и следующие.) Если цензура силою вещей была вынуждена не возражать против подобных сюжетов, когда они трактовались в журнале, почему бы стала она возражать против их появления в книге! Ведь к журналам она относилась с наибольшею строгостью.

Я не хочу сказать, что цензура в семидесятых годах стала мягче, но её свирепость обратилась на другие предметы. Выше мы видели, сколько увечий нанесено было ею в те же самые годы некрасовской поэме «Русские женщины».

Но исследователям незачем делать из царской цензуры какое-то неопределённое и туманное пугало. Нужно отчётливо знать, какова была специфика этой цензуры в каждую эпоху русской жизни.

Рецензент, например, утверждает, что стихотворение Некрасова «Дворянские скорби и радости», входившее в первопечатный текст сатиры Некрасова и посвящённое тогдашнему съезду петербургских дворян, изъято из текста по цензурным причинам. Вряд ли можно говорить об этом с такой непоколебимой уверенностью: ведь и о съезде дворян и о выступлениях двух «зубров»—Лобанова-Ростовского и Орлова-Давыдова, над которыми смеётся в своём стихотворении Некрасов, «Отечественные записки» ещё раньше отзывались с самым резким сарказмом в двух статьях, напечатанных в майской книжке 1875 года. В одной статье было прямо заявлено, что раздававшиеся на съезде помещичьи речи прозвучали, словно «крик мертвеца», а идеи, выраженные в этих речах, похожи на те «городушки», которые «строятся детьми и балаганщиками». В другой статье Лобанов и Давыдов названы без обиняков дикарями, бушменами, которые хлопочут о «восстановлении бушменских порядков». Даже либеральная пресса громко осудила их попытки реставрировать помещичью власть.

Значит, у нас нет никаких оснований считать тему этого некрасовского стихотворения запретной. Во имя чего же мы станем нарушать ясно выраженную волю поэта и, по капризу, включать в его сатиру такие стихи, которые он сам исключил?

Ведь это было бы незаконной причудой редактора, далеко выходящей за пределы его полномочий. Да и кто же возьмёт на себя ответственность за такое чудовищное разбухание сатиры Некрасова, которую сам же поэт сократил по своей собственной воле?

Вообще редактору классических текстов надлежит проявлять осторожность в отношении ко всяким «новациям». Изменять, дополнять, исправлять эти тексты можно лишь на основе строго проверенных материалов и фактов. Смутные догадки и домыслы здесь не ведут ни к чему. Лучше оказаться чересчур осторожным, чем самоуправно хозяйничать в литературном наследии великих писателей.

II

Но, конечно, излишняя осторожность, переходящая в робость, здесь, как и всюду, вредна.

Мне и сейчас больно вспомнить ошибку, которую я допустил — именно из-за отсутствия смелости — при печатании некрасовского «Дедушки». Дело в том, что ещё в 1926 году мною было впервые опубликовано (по новонайденной рукописи) следующее четверостишие из этой поэмы:

Взрослые люди — не дети!
Трус, кто сторицей не мстит.
Помни, что нету на свете
Неотразимых обид.

Четверостишие представляет собой вполне законченный в художественном отношении текст. Его идейное значение огромно. В нём выступает с наибольшей отчётливостью основное содержание поэмы, которое заключается именно в том, что возвращённый из Сибири старик-декабрист завещает молодому поколению — своим внукам и правнукам — ненависть к самодержавному строю и страстную волю к революционной борьбе.

Найдя и опубликовав вышеприведённый отрывок, я должен был тотчас же включить его в канонический текст, но я долго не решался на этот единственно правильный шаг. Меня смущали первые строфы поэмы, которые, думалось мне, находились в резком противоречии с содержанием нового отрывка. Мстить сторицей за вековые обиды, нанесённые народу его угнетателями, — к этому мог призывать лишь непримиримый боец, между тем как в начале поэмы «дедушка» сам говорил о себе:

Днесь я со всем примирился,
Что потерпел на веку.

Вообще при первом своём появлении в поэме возвращённый декабрист был представлен слишком уж смиренным и благостным, слишком отрешившимся от какого бы то ни было «противления злу»:

Благословил он, рыдая,
Дом, и семейство, и слуг,
Пыль отряхнув у порога,
С шеи торжественно снял
Образ распятого бога
И, покрестившись, сказал —

сказал о своём евангельском примирении с мучителями, после чего —

Сын пред отцом преклонился,
Ноги омыл старику.

Все эти строки смущали меня. Я считал невозможным приписывать такому кроткому старцу зажигательные речи о беспощадной расправе с врагами.

Ошибка моя произошла оттого, что в ту пору я ещё не в достаточной мере изучил так называемый «эзопов язык» шестидесятых — семидесятых годов. Из-за этого я оказался неспособен понять, что атмосфера евангельской святости, которой поэт окружает старика-декабриста на первых страницах «Дедушки», представляет собою обычный у Некрасова заслон от цензуры. Вспомним хотя бы «Пир — на весь мир», где революционная притча о расправе с тираном изложена в духе церковных легенд:

Господу богу помолимся,
Древнюю быль возвестим,
Мне в Соловках её сказывал
Инок, отец Питирим.

Кроме того, для меня, как и для многих других, долго оставалось неизвестным письмо Некрасова к В. М. Лазаревскому (от 9—10 апреля 1872 года), где поэт утверждал, что старик-декабрист выведен в поэме «нераскаявшимся», то есть таким же, как был. Лишь после того, как письмо появилось в печати, я счёл себя вправе, не считаясь с первыми страницами «Дедушки», усилить найденным четверостишием ту часть, где поэт раскрывает подлинную роль старика-декабриста, как непримиримого борца с «самовластием», продолжающего эту борьбу и по возвращении из ссылки.

Печатание «Полного собрания сочинений и писем Н. А. Некрасова» ещё не пришло к концу, как я осознал свою ошибку и в XII томе исправил её.

Но поправка чересчур запоздала. Текст «Дедушки» напечатан неточно. Причина этой крупной ошибки — излишняя робость редактора, объясняемая неверным истолкованием первых страниц поэмы, которые были направлены на дезориентацию цензуры.

И всё же благоговейная робость в данном случае куда предпочтительнее той необузданной «смелости», с которой иные исследователи приписывают Некрасову разные недостоверные тексты. Сошлюсь хотя бы на недавнюю книгу В. Е. Евгеньева-Максимова «Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова» (т. III, М., 1952). Его заслуги в опубликовании новых некрасовских текстов бесспорны (он впервые напечатал такие стихотворения Некрасова, как «Бунт», «Есть и Руси чем гордиться», «Что нового?», «Путешественник» и многие другие), но — увы! — и его соблазняют всякие фальшивые новшества, которые он с простодушной доверчивостью принимает за подлинный некрасовский текст.

К великому своему сожалению, я, например, никак не могу согласиться с той поправкой, которую он в своей книге предлагает ввести в «Размышления у парадного подъезда». При этом он ссылается на следующие слова Чернышевского, относящиеся к названному стихотворению Некрасова: «в конце пьесы (говорил Чернышевский) есть стих, напечатанный Некрасовым в таком виде:

Иль судеб повинуясь закону,—

этот напечатанный стих лишь замена другому...»

Это означает, что указанный стих написан Некрасовым под давлением цензуры и что в подлиннике существует другая строка, которую мы, текстологи, должны отыскать.

Евгеньев-Максимов убеждён, что эта строка уже давно им отыскана. «Мне удалось, — пишет он, — разыскать старую, безусловно относящуюся к шестидесятым годам, рукописную копию «Размышлений...», в которой имелась строка: «Сокрушишь палача и корону». Для меня сразу же стало ясно, что именно о ней и говорит Чернышевский...»

Но для нас это неясно и теперь. Ибо если мы примем вышеназванный стих, нам придётся заканчивать сатиру Некрасова такими непонятными словами:

Ты проснёшься ль, исполненный сил,
Сокрушишь палача и корону,
Всё, что мог, ты уже совершил,
Создал песню подобную стону
И духовно навеки почил?..

Не нужно слишком внимательно вчитываться в эти стихи, чтобы заметить, что они совершенно бессмысленны. В первых двух строках говорится, что русский народ проснётся и свергнет тирана, а в трёх последних — что он заснул навсегда, неспособный к революционной борьбе. Конец пятистишия резко противоречит началу.

В том варианте, который мы знали до настоящего времени, такого противоречия не было, несмотря на то, что его смысл был — как мы знаем со слов Чернышевского — ослаблен цензурой. Между двумя диаметрально противоположными перспективами русской истории, намеченными в этих стихах, было поставлено: и л и. То есть утверждалась альтернатива: и л и русский народ сбросит с себя ненавистное иго, и л и захиреет и сгинет, причём читатель хорошо понимал, что Некрасов верует в первую из этих возможностей.

В новом варианте никакого «и л и» нет. Альтернатива исчезла, и получилась нескладица, которую, конечно, невозможно ввести в состав гениального текста. Разрушен синтаксис. Утратился смысл. Я не говорю уже о том, что самое словосочетание «палач и корона» не может внушить доверия. У Некрасова такой неуклюжей фразеологии никогда не бывало. Ведь «сокрушить палача» в данном случае значит: уничтожить царизм, а вместе с ним все атрибуты царизма, в том числе, конечно, и корону.

Главное же обстоятельство, которое лишает текстологов права воспользоваться предложенным текстом, заключается в следующем. Когда-то, в давние времена, в 1917 году, этот текст уже был обнародован тем же исследователем, но тогда Евгеньев-Максимов читал этот текст совершенно иначе. Согласно тогдашнему его сообщению, найденный им текст был таков:

Ты проснёшься ль, исполненный сил,
Сокрушив палача и корону,
Иль судеб повинуясь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил...
и т. д.

Этот вариант был осмысленнее, но и его было невозможно принять, так как в нём сохранялась строка:

Иль судеб повинуясь закону,

то есть та самая строка, которая, по словам Чернышевского, представляла собою з а м е н у другого стиха. Здесь же эта строка сохраняется в полной неприкосновенности. Другая строка не заменяет её, а ставится с нею рядом. Так что исследователь едва ли имел основание утверждать с такой категоричностью, что «именно о ней и говорил Чернышевский». Чернышевский говорил не о новой, дополнительной строке, а о варианте старой, уже известной читателям.

В конце концов мы остаёмся в неведении: который из двух текстов был обнаружен исследователем. В двух разных изданиях он воспроизвёл свою находку по-разному, и оба раза она оказалась не отвечающей самым элементарным текстологическим требованиям. В одном случае нам предлагали читать: «сокрушив палача и корону», в другом — «сокрушишь палача и корону». В одном случае нам предлагали эту строку как замену, в другом — как дополнение к тексту.

Пусть же не смущаются молодые текстологи никакими авторитетами, именами, заслугами. Пусть сызнова обратятся к некрасовским рукописям, сызнова изучают в них каждое слово и подвергают самой строгой проверке всё, что было сделано нами.

12

С 1920 года и по нынешний день я лично несу ответственность за все стихотворные тексты Некрасова, ибо в течение этого времени я был их единственным бессменным редактором. Но теперь я с большим удовлетворением вижу, что во многих университетах и педвузах уже выдвинулась молодая фаланга учёных, прекрасно подготовленных для этой работы.

У нас, некрасоведов, уже выросла крепкая смена, и дело в надёжных руках. Ещё за несколько лет до войны начал свою плодотворную деятельность молодой, пытливый, энергичный текстолог А. Я. Максимович, имя которого упоминалось на предыдущих страницах. Он изумительно быстрыми темпами проверил по рукописям всю проделанную мною работу и внёс в неё ряд поправок, которые я принял с большой благодарностью. Мною было прочитано «горячие слёзы», Максимович поправил по рукописи: «горючие слёзы». У меня было: «скажем что-нибудь», у него «скажет кто-нибудь». У меня было: «погибнет», он установил, что необходимо: «покинет». Я прочитал: «подмерзлой», он доказал, что необходимо: «подмерзшей». Я читал «плутократия». Максимович прочитал «плутосократия».

Выше я отметил своё несогласие с некоторыми текстологическими принципами А. Я. Максимовича. Но, конечно, нельзя не принять с величайшей признательностью все вышеперечисленные поправки молодого учёного — результат тщательной и кропотливой работы.

Утешительнее же всего было то, что уже через несколько лет другой молодой исследователь — Александр Гаркави — продолжил текстологический труд Максимовича и внёс несколько важнейших коррективов в работу своих предшественников, в том числе и в работу А. Я. Максимовича.

Один из этих коррективов относится к некрасовскому стихотворению «Родина», которое в первом издании называлось «Старые хоромы». На раннем черновике этих «Старых хором» сохранились какие-то буквы, которые мы до сих пор не могли прочитать, так как они были густо зачёркнуты, очевидно, самим поэтом. При всей своей зоркости Максимович прочитал эти буквы неверно:

В. П. Б — ну,

то есть «Василию Петровичу Боткину»,— из чего следовало, будто Некрасов посвятил одно из самых боевых стихотворений такому эстету и эпикурейцу, как Боткин, с которым в то время (1846 год), был мало знаком и состоял лишь в деловых отношениях.

Но вот недавно в ту же зачёркнутую строчку всмотрелся Александр Гаркави и обнаружил, что она читается так:

В. Г. Б — му,

то есть «Виссариону Григорьевичу Белинскому», и, конечно, эта строчка приобрела для нас величайшую ценность. Отныне все биографы Некрасова, говоря о его отношениях к Белинскому, непременно упомянут многозначительный факт, который был обнаружен Александром Гаркави. Этому молодому исследователю некрасовская текстология обязана целым рядом подобных поправок. Особенно много было сделано им на основе изучения недавно найденной «солдатенковской рукописи», позволившей ему уточнить несколько неверных датировок, установленных ещё Пономарёвым в конце семидесятых годов. Он же установил более правильный текст некрасовского стихотворения «Старушка».

К Александру Гаркави, работающему в Калининградском педвузе, примкнул молодой петрозаводский учёный М. В. Теплинский. Хотя его кандидатская диссертация о некрасовских «Современниках» не свободна от существенных промахов, в ней есть несколько отличных наблюдений, обновляющих текст сатиры. Текст этот, как известно, впервые появился в журнале «Отечественные записки» (1875), и там был выведен какой-то юбиляр, которого чествовали за «плодотворную» административную деятельность:

Путь, отечеству полезный,
Ты геройски довершил,
Ты не дрогнул перед бездной.

Перед какой бездной, никто не догадывался. Стихотворение казалось неясным и бледным, и мы полагали, что именно по этой причине Некрасов изъял его из текста сатиры. Но Теплинский, проанализировав вышеприведённый отрывок, пришёл к убеждению, что «бездна» здесь отнюдь не метафора, как это казалось текстологам вот уже 70 лет, а название села, находящегося в Спасском уезде, Казанской губернии, того самого села Бездна, где в апреле 1861 года поднялось крестьянское восстание, зверски усмирённое казанским губернатором графом Апраксиным. Очевидно, его-то и чествуют в сатире Некрасова за то, что он «не дрогнул» перед убийством безоружных крестьян села Бездна:

Путь, отечеству полезный,
Ты геройски довершил,
Ты не дрогнул перед Бездной.

Это новое осмысление отрывка обязывает нас перенести его в канонический текст.

Достаточно познакомиться с кандидатскими диссертациями о некрасовском творчестве, защищёнными в эти последние годы молодыми филологами Москвы, Ленинграда, Петрозаводска и других городов, чтобы прийти к самым оптимистическим выводам о будущих судьбах литературного наследия Некрасова [1].

В работе молодых некрасоведов замечательна её коллективность. Они работают дружной артелью, и с каждым годом их становится всё больше. В далёкое прошлое отходит то время, когда, трудясь над воссозданием канонических текстов Некрасова, я чувствовал себя, как на необитаемом острове. Человек у всех на глазах исправлял (а может быть, и портил?) десятки стихотворений одного из величайших поэтов России, и хоть бы кто заинтересовался вопросом: верно ли он поступает, этот ретивый редактор, не оставляющий камня на камне от всех досоветских изданий Некрасова? В печати появлялись, конечно, рецензии — иногда враждебные, иногда благосклонные, но всегда очень беглые, написанные, так сказать, мимоходом и, за исключением двух-трёх, совершенно лишённые какой бы то ни было принципиальной основы, не дающие мне, редактору, никаких конкретных указаний. Как будто поэзия Некрасова не является одним из величайших сокровищ нашей национальной культуры, как будто всякий по своему произволу может бесконтрольно хозяйничать в ней.

Но это уже особая тема: о критике изданий классических авторов. Она всё ещё не изжила своих старых пороков: импрессионистична, придирчива, оторвана от широких научных идей и почти никогда не считается с общим объёмом произведённой работы, а чаще всего судит о ней по случайным и нехарактерным деталям.

К счастью, и в этой области нынче как будто намечаются сдвиги: последнее время читатели всё громче требуют отчёта от тех, кому вверены тексты великих писателей. Одним из таких отчётов — по необходимости кратким — и является настоящая статья.

[1] В Государственной библиотеке имени Ленина имеются 22 диссертации на кандидатскую степень, посвящённые жизни и творчеству Некрасова. И Гаркави, и Теллинский, и Гин, и Беседина, и многие другие молодые некрасоведы — ленинградцы, университетские питомцы проф. В. Е. Евгеньева-Максимова.